

ВЫДВИЖЕНКА

НИНА ДМИТРИЕВА

Имя Нины Александровны Дмитриевой (1917—2003), автора собственной, не имеющей аналога ни в отечественной, ни в мировой литературе «Краткой истории искусств», а также книг о Пикассо, Врубеле, Ван Гоге, соединяющих тонкость интерпретации и «отчетливость и решительность видения, первопродходческую смелость обобщений» - в ряду таких видных ученых в области искусствознания второй половины XX века, как М. Алпатов, А. Чегодаев, Г. Недошивин, Д. Сарабьянов.

Дмитриева называла себя «литератором, пишущим об искусстве», полемизируя со сторонниками введения «точных методов» в гуманитарные науки, она вообще так и определяла профессию искусствоведа.

В своих исследованиях природы искусства она свободно и широко сопоставляет литературный и художественный материал, как в книге «Изображение и слово», или в неизданной монографии «Об интерпретации искусства», где прослеживается жизнь «Божественной комедии» Данте в образах мировой и отечественной культуры на протяжении пяти веков—от Боттичелли и Микеланджело до Мандельштама и Олеси.

Дмитриева занималась и чисто литературным творчеством. Она писала мемуары; автобиографическую прозу; рассказы, сказки; стихи; переводила прозу, поэзию, пьесы. Дописала «Тайну Эдвина Друда» Диккенса. Практически всё это осталось неопубликованным и хранится в её архиве, как и её дневники, которые, по-видимому, следует считать его ядром.

Дневники Н. А. Дмитриевой охватывают около полувека. Первая из сохранившихся тетрадок с датированными записями относится к 1938–1939 годам, последняя – к 1980–1986гг. Как правило, записи делались нерегулярно, и лишь иногда более или менее подробно, как, например, в первые годы войны, когда Дмитриева с маленьким ребенком уехала к родственникам в Моршанск и преподавала там литературу, или во время её поездки летом 1945 года в Киев, где она собирала материалы для диссертации о Врубеле (заметим, «зарубленной»): «11/VIII-45г. Я здесь охотно веду этот подробнейший дневник, но зато очень мало говорю. Я все слушаю. Это мне больше нравится, чем говорить».

На основе киевских послевоенных записей написан рассказ «Выдвиженка», который мы предлагаем читателям. Рассказ публикуется впервые.

Светлана Членова

27

Летом 1945 года я поехала в Киев – смотреть Врубеля.

Крещатика не было: стояли оголенные скелеты домов, все видно насквозь, кое-где зацепились остатки прежнего жилья – стул, ширма, детская коляска. Но неугомонная жизнь уже шла: бабы на рынке торговали овощами, ряженкой, приговаривали: «Кушайте на здоровычко», деревья в парках росли роскошно, раскидисто, на песчаном берегу Днепра загорали купальщицы. Музеи готовились к открытию. У меня не было знакомых в Киеве, и я прямо с поезда пошла в Русский музей. Меня встретили приветливо с некоторым недоумением. «Куда же бы вас устроить? Вот разве к Марье Захарьевне? хотя бы на первое время, а там посмотрим».

Я отправилась по адресу, который мне дали. Довольно большая комната, довольно грязная и была бы еще грязней, если бы было больше мебели и какие-нибудь вещи, – но вещей почти не было.

Окна выбиты, на столе немая посуда, а на кровати старуха. Я только успела поставить на пол свой чемодан, как она начала рассказывать мне свою жизнь. И этот рассказ продолжался потом весь месяц, что я у нее провела.

Марья Захарьевна была не старуха – всего пятидесяти четырех лет, темноволосая, без седины, быстроглазая. Мне она показалась старухой, во-первых, потому, что я сама была молодая, во-вторых, из-за ее запавшего рта: зубы выпали от голода. Она страдала астмой и

во время приступов сидела на кровати неподвижно, а вообще была даже легка в движениях, очень темпераментна и говорила не иначе как с пафосом. В первый же вечер она поведала мне, что в молодости отличалась красотой и талантами. Когда-то училась петь («у меня был глубокий лирический контральто») и сейчас поет под гитару и романсы, и украинские песни, а больше всего любит цыганские и русские. «Люблю, – сказала она торжественно, – русское раздолье, русскую песню, русский могучий язык. Хотя сама украинка и прожила на Украине безвыездно всю жизнь, в Москве никогда не бывала».

Когда у нее пропал голос, она решила: «краска – та же музыка», и поступила в музей уборщицей.

Там она изо всех сил работала над собой, посещала лекции, слушала экскурсоводов, с большим рвением читала книжки о художниках. Ей тогда было уже за сорок. Когда к ней приходил ее второй муж, моложе ее на 10 лет, с которым она жила врозь, она говорила ему: «Юзек, уходи, ты мешаешь мне, я прорабатываю Федотов», или: «Мне сейчас некогда, я занята Левитаном». («И что же вы думаете? Как он увидел, что им так пренебрегаю, он стал ходить каждый день!»).

В те времена в моде были передвиженцы. Марью Захарьевну в уважение к ее энтузиазму выдвинули в «лаборанты» и стали поручать вести экскурсии. Она очень этим гордилась и выписывала себе на память похвальные отзывы об ее экскурсиях. Это был звездный час в ее жизни.

При немцах ей пришлось более чем тяжело. Второй муж уехал в Самарканд, взрослый сын от первого мужа тоже эвакуировался куда-то со своей женой, с которой Марья Захарьевна не ладила. Она осталась одна. «Работать я не хотела на этих фашистских гуннов». Жила сначала, по ее словам, в лесу, потом вернулась домой. Голодала. Ходила за водой на Днепр – водопровод не работал. От взрывов вылетели не только стекла, но и оконные рамы. Все последнее она продала. Четыре зимы провела в нетопленной квартире. Самая горькая для нее потеря – разорвала 50 своих стихотворений, «воспевающих Совету». Среди ее талантов не последнее место занимал поэтический – она всегда что-нибудь воспевала. (И меня воспела, как представительницу русского народа).

После освобождения Киева ее уже не взяли лаборантом и не сделали научным сотрудником, перевели на должность смотрителя зала со ставкой 150 рублей, а это все равно что уборщица. Ужасное разочарование и нравственный удар. Но уходить из музея она все-таки не хочет. Денег не хватает ни на что, кроме скудного обеда в столовой, на который уходит вся ее служащая карточка, – ни на дрова, ни на уголь, не говоря уже о пром-

товарах. Одежда – только то тряпье, что на ней. Посуду она никогда не моет – не до того. В бане не была четыре года.

В таких невзгодах жила Марья Захарьевна, когда меня к ней подсадили. От меня была ей некоторая материальная польза, а главное – она получила слушателя. Говорила, говорила – ни минуты не проходило у нас в молчании. Однажды объяснила мне: она потому такая балабучая, что мать родила ее как раз в день св. Владимира во время крестового хода и народного праздника и прямо под памятником Богдану Хмельницкому. Говорила же она все больше о красоте, декламировала и пела. Рассказывала о своих бывших женихах, читала мне вслух все письма, какие когда-либо получала, с такой неуклонностью, как будто я военная цензура. Все это чередовалось у нее с горькими жалобами на сотрудников музея (она их называла «научные») за то, что они ее устроили и затерли. Она считала, что это из зависти к ее успехам, и «если бы был жив Горький, он бы этого не допустил».

Обижали ее действительно много – не «научные», а другие. При мне она взялась шить платье какой-то заказчице за 75 рублей (по тем временам гроши), трудилась над ним долго, но как-то не так скроила, та осталась недовольна и не только не заплатила ей ничего, но даже требовала с нее стоимость материала, что, впрочем, было неосуществимо, так как все имущество Марьи Захарьевны не имело никакой стоимости. Оно состояло из хромого стола, двух стульев и двух очень старых кроватей, – на одной спала она, на другой я. В старухиной кровати водились клопы, в моей почему-то нет, – наверно им казалось слишком далеко переползти через всю комнату.

При мне же вернулся в Киев «второй муж», Юзек. Марья Захарьевна узнала о том от соседей и каждый день ждала, что он придет, а он так и не пришел. Марья Захарьевна объясняла это тем, что она с ним перед его отъездом рассорилась, а он очень гордый, к тому же писатель – у него есть напечатанный где-то роман под названием «Депо».

Сама она, несмотря ни на что, продолжала свою научно-исследовательскую работу. Сообщила мне, что хочет написать монографию о художнике Костенко и собирает материалы. Кто-то ей сказал, что у некоего киевского детского врача есть картина Костенко, но фамилию врача не сказали, известно только, что его зовут Федор. И Марья Захарьевна стала обходить медицинские заведения и спрашивать, нет ли там доктора по имени Федор. Несколько Федоров нашлись, но не те; наконец она нашла нужного Федора, но, кажется, у него уже не было картины Костенко.

Эти поиски Федора велись еще до меня, а при мне она пошла однажды к старому художнику Ижакевичу, у которого надеялась получить «дополнительные сведения» о Костенко. Дополнительных сведений не принесла, зато принесла помидоры.

Кроме обиды на «научных» у нее была другая большая обида – не печатали ее стихов. Она писала стихи о Ленине, Сталине, Джамбуле и о художниках. В первый же день прочла мне стихотворение о «Бурлаках» Репина и сказала со вздохом: «Вот – воспеваю великого художника и нигде не могу напечатать». Она была уверена, что не вышла в великие поэты только из-за отсутствия блата – некому было протолкнуть. Приводила примеры: Чехов остался бы в неизвестности, если бы его не протолкнул Короленко (почему-то именно Короленко? я с ней спорить не стала), Антокольский не стал бы знаменит, если бы ему не дала рекомендательного письма какая-то губернаторша. Жаловалась: ей из литературной консультации написали, что она слишком подражает Лермонтову. «Но Лермонтов же великий поэт, что же плохого, что я ему подражаю?». Из стихов Марьи Захарьевны я помню только одну строчку: «Там просветлеют наши взоры в экстазе нежной красоты».

Она сочиняла также поэмы и рассказы. Про грузинскую девушку Этери – как она влюбилась в пограничника, его убили и она сама стала пограничницей. Совершила подвиг, ее ранили, представили к награде, и она, получая награду,

говорила, что впереди еще много трудностей и боев. «И здесь, – вдохновенно сказала Марья Захарьевна, – здесь я являюсь пророком: ведь это еще до войны с немцами было написано, а моя Этери уже предвидит эту войну».

Еще много она мне читала и пересказывала, например «морской рассказ», где матрос спасает своего капитана и весь корабль, потом ему изменяет его возлюбленная гречанка Траянда, и он теряет рассудок. Я, слушая, иногда смеялась, но Марья Захарьевна принимала это как знак одобрения. Она была добродушная и доверчивая. Трудно понять, почему она писала только о том, о чем не имела никакого представления – о грузинках, гречанках, матросах, пограничниках – и никогда о том, что знала по опыту, хотя бы о своей жизни при немецкой оккупации. Так нет же.

В ее бедном мозгу гнезился тот исконный человеческий романтизм, который манит от «жизни лживой и известной» к неизвестному и небывалому. Это он побуждает строить воздушные замки будущего и мириться с берлогами настоящего. Недаром мечтатели всегда жили в убожестве. Мы в предвоенные годы пробавлялись раз навсегда предписанным воздушным замком и плохо сознавали, что происходит в действительности. Я в тридцатые годы была слишком молода, а глупа еще больше, чем положено по возрасту. Правда, идеалы коммунизма меня не воодушевляли – просто принимались как данность. Но у меня были свои романтические отдушины для собственного употребления. Я не сочиняла поэм, но меня больше занимала тайна исчезновения Эдвина Друда, чем тайна исчезновения моих современников. Что-то вроде прозрения началось во время войны. После войны «данность» грубо заставила с нею считаться.

То время, когда я, вернувшись из Моршанска в Москву, еще не поступила на службу, числилась в аспирантуре и провела месяц в Киве, было для меня как бы промежуточным. Я еще жила моршанскими настроениями и по наивности

думала, что их можно совместить с работой в журнале «Искусство». Моими мыслями владел Владимир Соловьев, каким-то непостижимым образом уживаясь с идеями М. А. Лифшица, а также Вивекананды, о котором я прочла у Ромена Роллана. Мне казалось, что все это в конечном счете сходится и нужно «все согласить». Врубель и был точкой схода, к тому же он пришел еще из подростковых романтических наваждений, им тоже отдавалась дань.

В разрушенном голодном Киве я «искала Фёдора» с усердием, достойным Марьи Захарьевны. В ее логово возвращалась вечером, дни проводила в запасниках музея, в библиотеке, или выпытывала «дополнительные сведения» у людей, что-то знавших о Врубеле, а то и знавших его самого, – тогда такие еще жили на свете. Через посредство врагов Марьи Захарьевны, «научных», которые, надо сказать, были очень симпатичные, я получила аудиенцию у Н. А. Прахова, сына Адриана Прахова и той, кто была прообразом врубелевской Богоматери. Красивый представительный старик, живший в старой, подзапущенной, когда-то богатой квартире, рассказывал о Врубеле много и охотно. Очевидно, он тогда писал свои воспоминания, напечатанные гораздо позже, после его смерти.

Между прочим, Прахов сказал, что среди акварелей с цветами и орнаментами, хранившихся в музее как врубелевские, примерно половина сделана им – он в юности Врубелю подражал. Не знаю, насколько это верно. Меня эти акварели на клочках бумаги восхищали все без исключения.

В Кирилловскую церковь я поехала с одной из музейных сотрудниц, Ольгой Иудовной Гузун. Церковь – среди холмов, на территории психиатрической лечебницы и госпиталя, по парку бродили больные в халатах. Психиатрическая больница здесь помещалась издавна, еще при Врубеле; заболел, он просил: «отвезите куда-нибудь, только не в кирилловскую». Теперь в ней было мало пациентов – только новый состав, всех прежних

немцы убили. На двери церкви висел огромный замок, ключ хранился в сумасшедшем доме. Мы пошли туда, объяснили, кто мы такие и зачем. Храм нам отперли, сказали, что туда никто не ходит, но иногда проникают некоторые больные, то ли через окно, то ли через какой-нибудь лаз. «В случае чего – не бойтесь, они тихие».

Мы блуждали одни в покинутом древнем храме, сыром и гулком. Посмотрели врубелевский «надгробный плач» в нише, – краска масляная облупилась, висела чешуйками. Зашли в алтарь, поднялись на хоры, где Дух Святой нисходит на апостолов. Потом моя спутница собралась уходить, а мне не хотелось. Я еще долго в полном одиночестве разглядывала апостолов. Спустилась вниз. На свитке одного из древних ангелов разобрала надпись: «На тех, кто с нечистым сердцем входит в сей чистый дом Бога, обрушу меч свой» (приблизительно так). И вдруг в церкви начало неудержимо и быстро темнеть, почернели святые лики, померк малюнький загадочный, какого-то монгольского типа Христос над дверью.

Стало почти как ночью – и ударил гром. Гроза. Может быть, они хотят на меня обрушить меч свой? Тут уж я поскорее вышла и возвращалась домой под проливным дождем. А меч – меч потом обрушился трижды. Не сразу, через несколько месяцев.

Иногда мне думается: каждый получает то, что он заслужил, и даже то, чего бессознательно хотел, не понимая, какие при том будут побочные явления и последствия. Трагикомическая судьба Марьи Захарьевны, задвинутой выдвиженки, могла ли сложиться иначе? Если бы даже ее никуда не выдвигали и если бы ее не обездолила окончательно война, все равно ее участь была задана ею же самой, роковыми ножницами между претензиями и возможностями, между романтическими порывами и невысоким потолком ее натуры. Но это же и облегчало ее крест. Она была так обольщена собой, своими поэтическими и прочими талантами, что это ее поддерживало, помогало

сносить нищету и брошенность.

Я провела у нее целый месяц не только потому, что другого жилья не подвертывалось; жилье получше и почище найти можно было, если поискать, но мне чем-то нравилась моя странная хозяйка, несмотря на ее «балакучность» и все остальное. Как-то все подходило одно к одному: город, лежащий в развалинах, но живой, упорная Оранта – «нерушимая стена», мистические лики святых Врубеля и эта полуодичавшая женщина в лохмотьях, поющая надтреснутым задыхающимся голосом:

Цыган без дома,
Цыган без хаты,
Цыган счастливый,
Цыган богатый.

Тогда, в этот мой киевский ме-

сяц, в газетах было опубликовано лаконичное, в несколько строк, сообщение об атомных бомбах, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки. Особенного впечатления оно ни на кого не произвело. Ну, еще одна бомба, – киевлян бомбами не удивишь. Никто не почувствовал начала новой эры. Разве что высказывали удовлетворение: теперь и Япония выведена из строя, значит войне конец.

Вскоре я вернулась в Москву, а в ноябре получила от Марьи Захарьевны письмо, оно у меня сохранилось. Она писала: научные сотрудники по-прежнему хотят от нее избавиться и держат на положении уборщицы, она продолжает собирать материалы о Костенко, Юзек продолжает «дуться» и ни разу к ней

не заглянул. Сын не приехал, но она надеется – киевский завод послал ему вызов. «Наш музей I/ХП открывается, я буду слушать экскурсии, и как у меня от этого душа будет болеть... Письмо мое вышито мрачными узорами и на грустной канве... Но я еще воспрянула бы духом, если бы вернулась любимая мне работа».

А в конце: «Я с удовольствием прочитала, что у вас идет ремонт Кремлевских звезд, что будут они теперь еще лучше, чем рубиновые... Воображаю, какая это красота! Сказочный Кремль снова чарует глаз, волнует крылатую душу поэта».

Больше я о ней ничего не слышала. А диссертацию о Врубеле к защите не приняли – и хорошо сделали: уж очень она была в духе Марьи Захарьевны.